

В.А. Вонлярлярский

Большая барыня

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.6
ББК 84-4
В11

В11 **В.А. Вонлярлярский**
Большая барыня / В.А. Вонлярлярский – М.: Книга по Требованию, 2021. –
132 с.

ISBN 978-5-4241-1510-3

Василий Александрович Вонлярлярский (1814-1852) был одним из самых популярных русских прозаиков пятидесятых годов XIX столетия. Современники, высоко ценившие в нем дар рассказчика, называли писателя "русским Дюма".

В романе "Большая барыня" на фоне картин провинциальной жизни разворачивается сложная социально-психологическая драма.

ISBN 978-5-4241-1510-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© В.А. Вонлярлярский, 2021

Василий Вонлярлярский
Большая барыня

Часть первая

В отдаленном уезде одной из западных губерний, на весьма неживописном берегу речки Коморца и подесь красуется усадьба, принадлежавшая некогда Петру Авдеевичу Мюнабы-Полевелову. Усадьбу эту получил Петр Авдеевич в наследство от отца своего, умершего в 18... году. Петр Авдеевич служил тогда в одном из армейских уланских полков штаб-ротмистром и считался ездоком. Не имея ни матери, ни братьев, ни сестер, штаб-ротмистр как единственный наследник родителя почел за лучшее выйти в отставку. Он был широкоплечий малый, лет двадцати осьми, роста среднего, с красными руками и лицом довольно обыкновенным. Волосы его были черны и жестки, лоб мал, глаза без выражения, зубы белы и ус длиннее всех усов бригады, в которой служил Петр Авдеевич; ус этот начинался под носом, не останавливаясь проходил мимо углов рта и терялся под самым подбородком.

Неожиданная весть о кончине родителя огорчила штаб-ротмистра; он не плакал – это правда; но не проходил мимо его ни один офицер, ни один лекарь, ни один аудитор, которому бы Петр Авдеевич не сказал: «А знаете ли? ведь батюшка-то умер! вообразите себе». И, высказав это, он в задумчивости брался за ус, тянул его вниз, клал его в рот и проходил далее.

Первую ночь сиротства своего провел штаб-ротмистр тревожно; но следующие менее тревожно, а чрез неделю засыпал скоро, спал крепко и просыпался в обычный час. Несправедливо было бы упрекать в нечувствительности сердце Петра Авдеевича. Сердце его с девятилетнего возраста отдано было, вместе с ним, в одно из учебных заведений и в продолжение очень долгого времени билось это сердце на родительской груди один только раз. Обязанности службы и далекое расстояние уничтожали всякую возможность частых свиданий сына с отцом, а потому и смерть родителя умеренно поразила детище.

В один из майских, ясных дней 18... года перекладная почтовая телега остановилась у деревянного домика сельца Костюкова, Колодезь тож (так звали поместье штаб-ротмистра); с телеги соскочили покрытый грязью, небритый Петр Авдеевич и камердинер его, желтовласый детина лет тридцати. Целых пять лет не видал усадьбы отца своего штаб-ротмистр, целых пять лет не билось сердце его при встрече с знакомыми местами, с полуразвалившейся часовнею, с толстым развесистым дубом, с деревушкою, служившею предместьем Костюкову, с обрывистою дорожкой, пролежавшею по берегу Коморца, и, наконец, с самым двором усадьбы, отгороженным еловыми кольями от фруктового сада и хозяйственных строений. В этот приезд Петр Авдеевич не шептал про себя: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его», не бросался с невольным трепетом к руке строгого и сурового отца; он без страха вылез из телеги; но тем не менее в глазах его изобразилась глубокая печаль, и он не раз отворачивался от приказчика, прежде чем вошел в прихожую опустелого родительского дома.

– Здорово, Кондрагий, здорово, Егорыч, – проговорил молодой помещик дрожащим голосом и целуя в седую голову шестидесятилетнего приказчика пошлой наружности; приказчик, не успевший удержать пойманную им невзначай барскую руку, поцеловал барина куда попало и бросился отворять дверь в залу.

В так называемой зале, то есть небольшой комнате с пятью окнами, кривым

полом и плетеными стульями, висел в зеленых рамках отцовский портрет: на нем изображен был Авдей Петрович в охотничьем наряде, с рогом, пороховницей, дробовиком, ягдташем, ножом и арапником через плечо; лицо покойника и глаза смотрели прямо перед собою; ноги, обутые в длинные сапоги, выворочены были наружу; левою рукою держал он двуствольное ружье, а правую указывал собаке на сидевшего в кусте бекаса, почти одинаковой с собакою величины. Позади охотника виднелся дом и строение Костюкова, а позади строений художник изобразил нечто среднее между небом и землею. Штаб-ротмистр приостановился у портрета, пристально посмотрел на него, и вздохнув глубоко, прошел в гостиную, из гостиной в диванную, из диванной в комнату, служившую недавно спальнею Авдею Петровичу.

– Я буду спать здесь, – сказал Петр Авдеевич приказчику, следовавшему молча за барином.

– Слушаю, слушаю, сударь, – отвечал старик, – но покой этот...

– Батюшкин, – прибавил штаб-ротмистр, – знаю!

– Ловко ли будет, сударь?

– Как ловко ли? отчего ловко ли?

– Так, батюшка Петр Авдеевич, все думается, что скончаться изволили...

– Неужто же ты боишься, Кондратий Егорович! – заметил, улыбаясь, штаб-ротмистр.

– Бояться? чего бояться, сударь? жизнь кончили христиански, бояться грех, а все думается...

– Полно, брат, мертвые не встают; велика постлать мне на этой кровати, вот и все. Видел ли ты сына, Егорыч? – прибавил штаб-ротмистр, садясь в кресла, – посмотри, какой молодец!

– Много доволен вашими милостями, батюшка Петр Авдеевич! – воскликнул приказчик, снова бросаясь к барской руке, – кому же и беречь слугу, как не господину: я ваш слуга.

– И лихой малый, надобно правду сказать, Егорыч, проворный такой, хват, доволен очень.

– А довольна ваша милость, и я спасибо скажу, сударь. Что, пьет он, Петр Авдеевич?

– То есть как тебе сказать? пить пьет; кто же не пьет? и я пью.

– Ну, слава же тебе, господи, – повторил старик с умилением.

– Разумеется, случится, выпьет, – продолжал, потягиваясь, штаб-ротмистр, – да у меня, знаешь, Егорыч, пить пей себе – слова не скажу, и пьян будь – ничего, ну, а уж дело какое случится, понимаешь?

– Как же не понимать, сударь, известно, дело случится!..

– Вот то-то же; впрочем, грешно сказать, малый на все взять; послать ли куда, купить ли что, у полковника вечер какой, обед... принарядиться... одно – на руку не чист; положишь оплошно, не прогневайся!

– Что вы, батюшка, упаси же, господи!

– Небось думаешь у меня? нет, брат, за этакое, брат, дело, он знает... ни-ни! а вот у другого кого – мое почтение!..

– Ну, коли не у вас, батюшка, Петр Авдеевич, так дело другое, а господского не тронь, не то не посмотрю, и вы, сударь, не прогневайтесь, такую трепку задам!

– Нет, нет, грешить не хочу, Кондратий Егорыч, за моим добром блюдет, как

следует; нечего пустого и говорить!.. Ну, скажите же, Кондратий Егорыч, вспоминал ли батюшка обо мне, когда умирал?

– Как же не вспоминать, Петр Авдеич, ведь родное дитя и одни изволили быть у покойного барина.

– Как же он вспоминал?

– А вот говорили, бывало: «Где-то теперь Петруша? чай, по фронту или учеьем каким заниматься изволит!» А в другой раз, под вечер, спросят карты и гадают все об вас, батюшка, и скоро ли женитесь, и какой там чин получите; а кончатся стали-с сердечные: «Водь», – говорят, воды просили, мучились жаждою и чего ни делали; нет, видно, срок пришел, сударь, от смерти не уйдешь, не спрячешься.

– Посылали ли вы за лекарем, Егорыч?

– За лекарем, батюшка? за лекарем-то, правда, не посылали; священник же, отец Аникандр, был и при самом издыхании все находился при барине!.. завидная кончина! – приказчик вздохнул, окончив свое повествование, а Петр Авдеевич предался хотя не продолжительному, но грустному размышлению.

Пока барин разговаривал с приказчиком, камердинер вытащил из перекладной телеги рыжеватый чемодан, кожаную сумку, погребец, обитый телячьей шкуркой, кулек с колодками, саблю, завернутую вместе с чубуком, и пару чудовищных пистолетов; все это разложил Ульян (так звали камердинера) на дощатом крыльце, окруженном толпою дворовых женщин и детей обоого пола. Когда же, перешарив сено, камердинер отыскал остаток стамбулки, то вынул из кармана шаровар гарусный кошелек, достал оттуда медный пятак, бросил его ямщику, потом снял фуражку и принялся обнимать поочередно предстоявшую публику, наделяя каждого тремя полновесными поцелуями. Все это происходило в Костюкове, Колодезь тож, часов около двух пополудни. Более полчаса употребил Петр Авдеевич на грустные и тяжкие размышления и воспоминания, но желудок штаб-ротмистра, не принимавший, по-видимому, ни малейшего участия в скорби сердца, шепнул наконец, что час обеденный наступил давно.

– А что, брат Егорыч, ведь поесть бы надобно, – сказал барин, обращаясь к приказчику.

– Как же, батюшка, надобно, особенно после дороги.

– То-то, Кондратий, да есть ли у вас что-нибудь?...

– Что вы, сударь, в господском доме да не найти?... все есть; прикажете позвать Прокофьича?

– Жив разве?

– Что нам, старикам, делается?

– Так позови Прокофьича, или... постой; вот что, Егорыч, потрудись, любезный, приказать ему состряпать так, что-нибудь; супу не нужно, прах ли в нем, а гуся или уточку.

– Слушаю-с, слушаю-с.

– Потом ветчинки провесной нарезать этак ломтиков с пяток, да чтобы салца не отрезывал прочь.

– Понимаю-с, понимаю-с.

– Или почек, когда бы достать можно было, так селянку на сковороде с луком.

– Слушаю-с, слушаю-с, батюшка Петр Авдеич, извольте быть благонадежны, все прикажем мигом.

– Пожалуйста, братцы, поторопитесь.

– Слушаю-с, слушаю-с, – повторил приказчик, пускаясь бегом вон из комнаты, в которой остался полуутешенный Петр Авдеевич. Он потер себе руки, потом пожевал ус и, встав с кресел, принялся осматривать окружавшие его предметы. Первое, что попало ему на глаза, был шкаф с книгами. Штаб-ротмистр поспешил отвести взор свой от этого слишком живого воспоминания чего-то весьма неприятного: Петр Авдеевич никогда не мог забыть слез, пролитых им некогда над «Кратким изложением всех пяти частей света»; сколько раз, бывало, в детстве своем, штаб-ротмистр стаивал за них на коленях, сколько раз, чрез посредство покойного родителя, представлялся юному Петру Авдеевичу случай приходиться в соприкосновение с этими драгоценными творениями, и тогда черты сыновнего лица мгновенно переменяли выражение, а желудок лишался одного или двух блюд. В настоящую минуту штаб-ротмистр удовольствовался тем, что окинул давнишних врагов своих презрительным взглядом и, обойдя шкаф, углубился в рассматривание нескольких картин, симметрически развешенных между изразцовою печью и дверьми.

Петр Авдеевич очень хорошо помнил, что одна из этих картинок изображала прехорошеньких детей, перепуганных внезапным появлением волка; ему, то есть Петру Авдеевичу, казалось даже, что у волка этого были красные глаза и темно-лиловая шерсть; что лапами зверь упирался на одного малютку, в то время как морда его обращена была к другому зверю, прехладнокровно выглядывавшему из окна, и что второй зверь впоследствии должен был спасти несчастных и оказался доброю и верною собакою; все это помнил штаб-ротмистр, но рассмотреть не мог, потому что стекло, покрывавшее картинку, значительно потускнело. Петр Авдеевич поднес палец ко рту, потом потер им стекло, и действительно: глаза у волка оказались красного цвета; тот же палец поднес снова Петр Авдеевич ко рту и нова потер им стекло, и темно-лиловый цвет волчьей шерсти вышел наружу довольно явственно. Ободренный успехом, новый владелец Костюкова продолжал труд свой, и вскоре вся картинка представилась его взорам со всеми подробностями и даже с надписью. Насмотревшись на добрую и верную собаку, Петр Авдеевич взглянул украдкой на палец, поморщился, потер его об реикузы, плюнул несколько раз на пол и, тронув мимоходом все, что ни попадалось ему под руку, прошел из спальни в залу, захватил фуражку, надел ее себе на голову и вышел на крыльцо.

Убедившись, что в последнее пятилетие на костюковском дворе не произошло ни малейшей перемены и старый бревенчатый амбар находился, как и прежде, против кухни, а молочник против ледника, штаб-ротмистр сошел с крыльца, повернул направо и направил стопы свои к калитке, ведшей в сад; тут пристала к Петру Авдеевичу худощавая гончая собака с отвислым животом. Петр Авдеевич погладил собаку, прошел с нею весь сад, остановился на минуту у небольшого четвероугольного пруда, поглазел на уток, бросил в них щепкой, за которой посылали собаку, но собака не повиновалась; треснув ее за то ногу, штаб-ротмистр принял направление к скотному двору и прочим хозяйственным строениям. Скромную костюковскую конюшню, а равно и коровники, нашел новый хозяин пустыми: скот и лошади паслись в поле. Оставалось заглянуть на псарню и мельницу; в первой встречен был барин лаем дюжины дрянных собачонок каких-то неведомых пород; во второй колеса и крылья были поломаны, а

паутина, покрывавшая шестерни, свидетельствовала о давнишнем ее бездействии.

Не очень довольный порядком, найденным по хозяйственной части костюковского управления, Петр Авдеевич возвратился домой в полной надежде, что его встретит Кондратий Егоров с тарелкой под мышкой; так, по крайней мере, водилось при покойном родителе, который не мог проглотить куска, не убедившись предварительно в том, что вся костюковская дворня присутствовала при барском обеде.

Но ошибся штаб-ротмистр: в зале не заметил он и признаков приготовлений к обеду. Петр Авдеевич свистнул – никто не являлся; свист повторился громче, и по прошествии нескольких минут послышались отдаленные шаги в сенях, потом в передней, наконец дверь из прихожей отворилась и на пороге показался нечесанный образ человеческий в казакине из толстого сукна, в холстинных панталонах и в сапогах с окнами. По наружности существо это принадлежало к числу заштатных служителей помещичьих домов низшего сорта.

– Прокофьич, это ты? – воскликнул барин, узнав в пришлеце старого отцовского повара.

– Я, батюшка Петр Авдеич! – И повар, дрягнув ногами, отвесил поклон одною только головою.

– Постарел же ты, брат! насилу узнал, ей-богу, насилу узнал.

– Без господ жизнь плохая, барин; дело наше таковское, ребятишек много; умыть, одеть некому – месячина самим вам известно какая! Была коровенка – в прошлую осень волк зарезал.

– Изготовил ли ты мне что-нибудь поесть, Прокофьич? – перебил штаб-ротмистр, знавший наизусть все прошедшие и предчувствовавший все последующие бедствия Прокофьича.

– Вот за этим-то я и изволил прийти, барин, – отвечал повар, понизив голос и вытянув шею, – ведь дело-то плоховато.

– Как плоховато?

– Как же, батюшка барин, сами рассудить изволите, приказывали изжарить то есть гуся; да ведь гуси-то, барин, какие теперь гуси? есть гуси семенные, ведь только слава, чтогуси.

– Мне все равно, Прокофьич, пожалуй, я утку есть стану.

– Эх, батюшка барин! ну, а утки теперь какие? ведь утки семенные остались, дело осеннее, не то чтобы подать господину, а и наш брат есть не станет. Ну, сами рассудить изволите! оциплешь перья, останется там нос какой – нибудь да лапы; приличное ли же дело? вот осенью, на заморозках, так подкормить житцей, выйдет штука!

– Так черт же побери; давай хоть селянки!

– Селянки? – повторил, ухмыляясь, Прокофьич, – селянки? да из чего же, барин, сделать-то селянку? Из почек, сказывал приказчик; а откуда возьмешь почек? вы бы, батюшка барин, взглянуть изволили на скотинку; ведь только слава, что бараны!.. а, прости господи, другой тулуп жирнее господских баранов-то. Мужичок-то несет что ни есть у него отменного, да не доходит оно до милости вашей; оттого-то и на приказнице фрезы всякие, и в церкви стоит, думаешь, барыня какая; истину вам докладываю.

– Стало, есть нечего? – воскликнул выведенный из себя Петр Авдеевич.

– Отчего нечего, барин? найдется что покушать, и я милости вашей докладываю, как верный слуга, что гуси, примерно, или утки остались только семенные; не стали бы гневаться, как подашь штуку, да штука-то выйдет неподходящая.

– Дьявол вас побори совсем! этак просто с голоду, умрешь, – проговорил с сердцем штаб-ротмистр, – ну, дай хоть щей каких-нибудь, а там увидим.

– Капустки-то хватило на полпоста, батюшка, а коли приказать изволите, так можно собрать ребят да затянуть карасиков; дело-то будет сподручнее; сметанки добудем у мельника, маслица же найдется и у приказчика.

– Неужто и масла-то нет господского? – спросил удивленный помещик.

– Что и докладывать! просто не наше дело, барин! осмотреться изволите, не утаится ничего от милости вашей... а карасиков приказать нешто?

– Давай хоть карасей, да живо!

– Духом, батюшка, духом; только бы захватить старосту, не уехал бы куда, – последние слова договорил Прокофьич, затворяя за собою дверь из прихожей.

Краткий разговор с Прокофьичем усилил неблагоприятное впечатление, произведенное на ум Петра Авдеевича беспорядком, найденным им по хозяйственной части, и заронил в душу нового помещика первую искру досады.

«Как! – говорил он сам себе. – Оставить службу, оставить третий эскадрон, мундир, эполеты, товарищей! И для чего же? чтоб голодать в этой трущобе? Черт надоумил меня сделать такую глупость!»

Штаб-ротмистр засунул ус в рот, а руки в карманы рейтуз и, приподняв плеча, отправился снова в опочивальню, где, как ему было известно, хранились в конторке хозяйственные книги покойного родителя. «Ежели и в них подобное творится, так дьявол же побори!» – подумал костюковский владелец и с сердцем повыгаскал из конторки все бумаги, какие попались ему под руку.

Схватив первую тетрадь, Петр Авдеевич наудачу развернул ее и, опершись обоими локтями в стол, стал разбирать следующее: «не полон, чтобы... можно было после в него... влить... две бутылки воды... сахару десять фунтов положить... в кастрюлю и вылить из бочонка, ставить кипятить... пену счищать, потом снять с огня, взять тридцать штук бергамотов... счистить кожу, зерно изрезать и вскипятить и завязать пузырем и...»

Штаб-ротмистр гневно швырнул тетрадь под стол и взял другую, – на другой, очень узенького формата, прочел Петр Авдеевич слово *шот*. На первой странице рядом с *ОЗ*, стояли какие-то каракули; некоторые из них напоминали цифры, другие ижицу.

Вторая тетрадь последовала за первой, а остальные за второй. Оставалось положиться на честность приказчика, на которую, впрочем, как казалось, не очень полагался Прокофьич.

В седьмом часу вечера костюковский помещик уничтожил довольно большое количество карасей, запил их чаем и в девятом часу лег спать.

По прошествии недели Петр Авдеевич свыкся с мыслию, что за ним по ревизии значится сто двадцать пять душ мужеского пола, что заложены эти души в Московский опекунский совет, что добавочные взяты, и по подушным находится недоимка, что хлеб родился плохо, а на скотине, кто ее знает отчего, и шерсть не растет; что Кондратий Егоров мошенник, а Прокофьич и рад бы состряпать для барина суп *пюре*, да для этого надобно «взять, сварить и как готово остудить, мелкое мясо обобрать и изрубить помельче и сварить восемь яичек, и взять

хлеба, и корочки прочь срезать, и положить чумички полторы бульону и ставить на плиту и мешать, не давать кипеть, и отпускать с гренками» и проч. и проч., но ничего этого не было у Прокофьича, а была у него только книга, с которой познакомился барин в первый день своего приезда в Костюково, Колодезь тож, а хранилась книга эта в отцовской конторке.

Благодаря умеренности родителя частных долгов на имении не было, а потому, следуя мудрому примеру Авдея Петровича, и Петр Авдеевич мог продолжать жить, как жил родитель; на это и решился Петр Авдеевич, который, впрочем, и не был избалован роскошью. Конечно, в полку, бывало, задумай штаб-ротмистр проехаться в штаб или в другое какое место, Ульян впрягал в легонькую, как перышко, тележку, тройку таких лошадей, каких не было и у самого казначея, а хомуты-то на них надевал Ульян обшитые алым сукном, и на уздечках бубенчики, и не простые, а валдайские, чисто валдайские... Однажды полковник спросил у Петра Авдеевича: не продаст ли он тройку свою?

– Я? продам? – воскликнул штаб-ротмистр. – Я? да ни за какие блага в мире! Да вот как, и за полтора целковых не продам!

Вот каких лошадей держал Петр Авдеевич в полку, в то время как Авдей Петрович, то есть родитель его, довольствовался только парочкою разношерстных, а ездил обыкновенно в таких четверместных дрожжах, с рыжими фартуками, что, приснись эта дрянь иному брезгливому, стошнит, пожалуй.

– Неужто у батюшки ничего не было, кроме этого коландраса? – спросил у приказчика костюковский помещик, осматривая с прискорбным вниманием четверместные дрожжи.

– Были, сударь, и беговые, – отвечал Кондратий, – да покойный барин изволил их на бричку променять.

– Стало, есть бричка?

– Есть-то есть она, сударь, да плоховата!

– Покажи, братец, починим; по крайней мере, на худой конец проехать можно; а в этой штуке, – прибавил штаб-ротмистр, указывая все-таки на дрожжи, – сам посуди, да что тут говорить? на ином толчке язык откусишь, пожалуй; и как-таки мог покойный батюшка трястись на них? чай, жизнь сокращать должны.

– И бричка-то, сударь, правду доложить вам, не больно взрачна. – Говоря это, приказчик бросался шарить по всем углам сарая, он заглядывал и на потолок, и за ворота, и только что не под четверместные дрожжи.

– Чего же ты ищешь, Кондратий? – спросил наконец штаб-ротмистр.

– Не знаю, куда девали!

– Кого?

– Бричку, сударь, – отвечал Кондратий Егоров, продолжая поиски свои.

– Кой прах, неужто пропала?

– Что вы, батюшка, статочное ли это дело? господская вещь не пропадает, а може, наругом кто-нибудь?

– Как наругом?

– Все Тимошкины штуки, Петр Авдеевич, такой уж разбойник, что ему бричка, не его! Да, так и есть, – прибавил приказчик, выглянув из щели задней стены сарая, – вот она!

И взорам господина представился не экипаж, а нечто вроде остова большой рыбы, у которой как бы отрублены были и голова, и хвост. За сараем, на гряде

разных нечистот, лежал темного цвета скелет; на круглых ребрах его местами болтались куски кожи, торчали заржавленные гвозди, а о колесах и помину не было.

– Неужто ты эту нечисть называешь бричкой? – воскликнул штаб-ротмистр, грозно заноса ус свой в рот, – так-то бережется барское добро?

– Тимошка, сударь, все он, головорез, батюшка, Петр Авдеич, – отвечал оторопевший Кондратий, – сколько раз говорил я ему: «Прибери, не то барин гневаться будет», и в ус не дует, сударь.

– Не дует? так подавай же его сюда, мошенника! – закричал Петр Авдеевич, рассердясь не на шутку, – я его проучу по-своему, я его...

Приказчик бросился со всех ног за Тимошкою, а штаб-ротмистр продолжал строгий осмотр брички, приговаривая: «Уж я его, уж я его!» – и повторял разгневанный костюковский помещик «уж я его...», пока к тылу помещика не подошел детина лет пятидесяти с таким богатырским затылком, пред которым самые плечи Петра Авдеевича казались дрянью.

На пришедшем было пунцовое лицо с усами и нечисто выбритым подбородком; волосы его подстрижены были в кружок и прикрывали плоское темя, а на каждой из рук недоставало по несколько пальцев.

Он молча выждал, пока барин повернулся в его сторону, и, поклонившись ему, тряхнул головой.

– Поди-ка сюда, любезный! – сказал штаб-ротмистр.

Тот сделал два шага и снова остановился.

– Нет, брат, сюда, сюда поближе!

Детина сделал еще два шага.

– Ну, теперь Расскажи-ка мне, что это такое? – спросил Петр Авдеевич и указал пальцем на остов брички.

– Эвто?

– Да, это, вот это!

– А прах его знает, – отвечал спокойно тот.

– Как же прах его знает?

– Да так, прах его знает!

– И ты, кучер, смеешь мне так отвечать?

– Какой я кучер, сударь!

– Да ведь ты Тимошка?

– Так что же что Тимошка? и Тимошка, да не кучер, а коли есть у кого кучер, так есть и лошади, и всякой снаряд; а то и был кучер, хороший кучер, сударь, да на эвтом не наездишься, – прибавил Тимошка, нанося ногою жестокий удар несчастному остову.

Выходка Тимошки не только не разгневала господина, а, напротив того, страх понравилась ему. Окинув взглядом формы бывшего отцовского кучера, штаб-ротмистр нашел его по себе.

Петр Авдеевич не любил мямлей, и будь хоть пьян, хоть груб, да лихой, так спасибо говаривал он подчиненным своим уланам; и тут, смягчив голос, он ограничился легким выговором за неисправность в сарае и небрежность Тимофея в сбережении брички.

– Да чего тут беречь? да какая ж тут бричка? да эвто же, с позволения сказать, не бричка, – возразил Тимофей, нанося вторичный удар жалким остаткам роди-